

ЮРИЙ ФАНКИН

## ПИТОМЕЦ РУССКОЙ МЕЛЬПОМЕНИ

*К 100-летию драматурга А. К. Gladkova*

7 ноября 1941 года. Блокадный Ленинград. В этот знаменательный день город на Неве выглядит совсем не праздничным: тёмные окна заклеены бумажными полосами, в магазинах – пустые полки и разбитые витрины, заложённые мешками с песком.

Транспорт не работает – саван снега принакрыл замершие трамваи, троллейбусы, автобусы. Безрадостными гирляндами свисают вдоль улиц оборванные провода.

Все театральные коллективы эвакуированы в глубь страны. Остался только Театр музыкальной комедии под руководством Н. Акимова, и в 24-ю годовщину Октября артисты этого театра делают ленинградцам и балтийским морякам незабываемый подарок – ставят новую пьесу “Питомцы славы” (“Давным-давно”).

На сцене герои войны 1812 года: фельдмаршал Кутузов, лихие гусары... Зрители постепенно привыкают к необычной, стихотворной речи персонажей.

Живую, искромётную речь Шурочки Азаровой, превратившейся в корнета Александра Азарова (её играет Е. Юнгер), прерывает ноющий сигнал воздушной тревоги.

Артисты и зрители, соблюдая порядок, спускаются в ближайшее бомбоубежище, а когда наступает отбой, возвращаются на свои места в холодном зале.

Отвыкшие от улыбок зрители вслушиваются в остроты заядлого дуэлянта поручика Ржевского (Б. Тенин) и сдержанно улыбаются. Улыбающиеся люди непобедимы...

По окончании спектакля публика в благодарном порыве встаёт и негромкими аплодисментами (надо беречь силы) приветствует исполнителей.

Ленинградцы хорошо знают своих любимых артистов, но автор героической комедии им не известен. Gladkov. Простая русская фамилия...

Кончилась война. Александр Константинович запишет в своём дневнике: “Уже нечего было ожидать так, как мы ожидали победу...”

Позже – уже задним числом – перелистав свои блокноты и записные книжки, Gladkov с присущей ему педантичностью воспроизведёт события, предшествующие аресту:

“20 января 1948. У книжника Казьмицкого, сектанта и спекулянта, и у какого-то старого адвоката, распродающего остатки когда-то, видимо, отличной библиотеки: все книги в переплётах и с тиснением на корешках, купил

43 тома. В том числе 4 книги Бунина, 2 – Шмелёва, 2 – Тэффи, 3 – Волконского, 3 – Крымова, Бальмонта и др. Алданова не достал ничего. Ещё купил 50 томов “Современных записок”. Весь мой номер завален книгами...”

“22 января 1948. Еду. В поезде приступ страха, не совсем беспричинного. Я не паникёр, но после лета 37-го и весны 39-го такого со мной не было. Уверенность в слежке, в том, что меня ждут на вокзале в Москве, и всё прочее. Страшноватая ночь. Браню себя за приобретение книг, за эту поездку, которая кажется мне роковой...”

Уже после смерти Gladkova муромский краевед Николай Сергеевич Крылов встретился с другом Александра Константиновича – Львом Абелевичем Левицким, и тот сообщил ему ряд подробностей.

Он назвал одно обстоятельство, которое, по его мнению, могло способствовать аресту:

“Не исключено, что упоминание Gladkova в известном Постановлении по журналам “Звезда” и “Ленинград” могло усложнить его положение...”

Упомянув Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 года, Левицкий не называет фамилию Жданова – его до сих пор кое-кто считает лидером “черносотенного” направления в партийных верхах. Но именно благодаря национальной политике Сталина-Жданова пробились из космополитического небытия такие слова, как “Родина”, “русский”, “память”, “патриот”... Именно при Жданове заговорили о прогрессивной роли христианства и православных монастырей.

В 1941 году Жданов возглавлял оборону Ленинграда, и не исключено, что премьера пьесы Gladkova в блокадном городе состоялась не без его благословения, по крайней мере последующее триумфальное шествие героической комедии по стране было бы невозможным без ждановской политики в области культуры...

Потому-то и удивляет многих земляков Gladkova факт переименования улицы Жданова в улицу Московскую. Не тронули в Муроме улицы Свердлова, Войкова, Емельяна Ярославского, а вот Жданову не повезло...

Может, кто-то во власти до сих пор не может простить Жданову исключённых из Союза писателей Зоценко и Ахматову? Но ведь по сравнению с другими государственными деятелями Жданов – сущий ангел. Он не занимался рассказыванием, подобно Свердлову (когда погибли более миллиона людей), не растворял в серной кислоте, как Войков, останки царской семьи, не рушил православные храмы вместе с воинствующими безбожниками Емельяна Ярославского...

Если Емельян Ярославский (Губельман) приезжал в Муром в сентябре 1917 года только для того, чтобы взбудоражить солдат 205-го пехотного полка, то Жданов, став секретарём Горьковского крайкома ВКП(б), непосредственно занимался индустриализацией муромской промышленности...

Впрочем, о том, что могло послужить непосредственным поводом для ареста Gladkova, существуют разные версии. Одной из них делится кинорежиссёр Эльдар Рязанов:

“Gladkov где-то раздобыл книгу Адольфа Гитлера на русском языке. Не знаю уж, было ли это типографское издание или же машинописный экземпляр, во всяком случае гитлеровское сочинение по-русски было неслыханной редкостью. Gladkov дал книгу почитать какому-то своему приятелю. А этот добродетель донёс, сообщил, стукнул. И Gladkova арестовали...”

Возможно, всё было так, как говорит Рязанов, но почему же сам Gladkov перечисляет совсем другие книги, не упоминая “Майн кампф” и таинственного приятеля-доносчика? Может, Gladkov по каким-то причинам хотел сохранить доброе имя приятеля? А может, ему не хотелось, благодаря прочитанной книге, прослыть в определённом кругу “антисемитом”? – ведь приписывали же “черносотенцу” Жданову в качестве настольной книги “Сионские протоколы”...

Так или иначе Gladkov, арестованный 1 октября 1948 года, был обвинён в “хранении антисоветской литературы”. Драматурга приговорили к десяти годам заключения и отправили в Каргопольский исправительно-трудовой лагерь.

Поначалу его, как и многих, используют на земляных работах, а потом, когда он повредил ногу, переводят на больничный склад. Однако на складе Gladkov не задерживается: начальство решает использовать сталинского лауреата “по назначению”, и он становится главным режиссёром лагерного театра. Эта должность даёт Gladkovу относительную свободу и возможность общения с разными людьми.

В это же время там отбывала срок популярная актриса довоенного кино Т. Окуневская (женский лагпункт № 36). Она узнаёт, что в лагере организована культбригада, которой руководит автор известной пьесы “Давным-давно”. Происходит знакомство актрисы с драматургом.

Окуневская вспоминает:

“От культбригады впечатление тягостное: замученные, несчастные люди... Гладков держится: сильный и духовно, и физически, большой, неуклюжий, талантливый, без всяких контактов с начальством, ибо это заискивание, подхалимство всё то же, что обязаны проделывать “придурки” за благополучие в зоне...”

Демократичный по натуре Гладков находит общий язык не только с интеллигентами, но и с простыми людьми. Его не смущают даже лагерные грубияны – те, что “птицу на лету бранью собьют”. Он чувствует артистичность и незлобивость этих людей, вызывающих у него не только восхищение, но и глубокое сожаление: “Куда только не уходит русский талант!”.

Гладков не идеализирует лагерную жизнь, и всё же, стараясь оценивать беды не с узко клановой, интеллигентской, а с народной точки зрения, он приходит к весьма неожиданному выводу:

“Я не сравниваю эвакуацию с заключением, но думаю, что в иных случаях в лагере было легче. Думаю также, что если бы Марина Цветаева попала не в Елабугу, а в лагерь, то она могла бы выжить...”

Даже в лагере Гладков умудряется следить за журнальными новинками. В одном из номеров “Знамени” он встречает новые стихи Пастернака (они впоследствии будут включены в роман “Доктор Живаго”), а потом мать пришлёт ему ко дню рождения однотомник любимого поэта:

“Обыкновенно я читал его стихи по утрам, просыпаясь в бараке раньше остальных...”

В лагере Гладков работает над исторической пьесой “Зелёная карета”, посвящённой судьбе водевильной актрисы Асенковой, пишет стихи.

Александр Константинович рассказывает, как родился цикл его стихов “Северная тетрадь”:

“В лагере карандаши отбирали только химические, а простых было вдоволь. Стихи писались вместо дневников: они легче сохранялись в непрерывных “шмонах”, а в случае чего их можно было хранить не только на бумаге, но и в памяти...”

Своими воспоминаниями делится журналистка И. Королёва:

“Мне только двадцать шесть. Позади университет и первые шаги в журналистике. А вокруг – лагерные бараки, колючая проволока, тачки с промёрзлой землёй. Ирония судьбы! Как она подчас бывает горька!.. И вот однажды среди скрипа тачек и злой ругани раздалась стихи. Яркие, чистые! Стихи о радости жизни, о счастье, о любви!.. Это было невероятно, но это было! Читал стихи высокий худой человек с забинтованной ногой. Он сидел на бревне и читал одно стихотворение за другим. Названий их я уже не помню. Но они были прекрасны. Они возвращали меня в прошлое, а мрачное настоящее казалось каким-то нелепым сном...”

В каргопольской неволе Гладков знакомится с полячкой Янкой Квасовкой, юной девушкой, почти гимназисткой.

Александр Константинович влюбляется, как мальчишка. Янка отвечает ему взаимностью. Ни колючая проволока, ни разница в возрасте не смущают нашего “поручика Ржевского”. Он посвящает стихи своей прекрасной “панне” и молит судьбу, чтобы она позволила им выйти на волю вместе...

## БЛАГОДАРНОСТЬ

*Янке*

*Скупое северное лето  
И ночь, похожая на день,  
Без сумерек и без рассвета:  
Белёсо-голубая тень...*

*Пусть не было вина в бокалах  
И роз на праздничном столе,*

*И не горели люстры зала  
В волшебном-пьяном хрустале.*

*Пусть не было беспечных тостов  
О счастье и о всём другом, —  
Всё было странно, горько, просто:  
Лишь ночь одна и мы вдвоём.*

*Скупого северного лета  
Я с вами понял красоту.  
Я вас благодарю за эту  
Почти святую простоту.*

*За бледное, как бледность, небо,  
За алый, словно кровь, закат,  
За ржавый вкус ржаного хлеба,  
За явь и сон, за рай и ад!*

1950 г.

5 марта 1953 года не стало Иосифа Сталина (ещё раньше, в 1948 году, неожиданно скончался Жданов).

Началось освобождение политзаключённых (и сейчас нелегко разобраться, кто обязан своим арестом Сталину, а кто борцам с “русским шовинизмом” — Берии и Абакумову). Леонид Леонов, используя свой писательский авторитет и высокое общественное положение (депутат Верховного Совета СССР), начинает хлопотать об освобождении Гладкова, но каргопольский узник не торопится выйти на свободу: он ждёт, когда решится участь его любимой...

Летом 1954 года Гладков возвращается из заключения. Ему разрешат жить в подмосковных Петушках:

“Я не был сразу реабилитирован. Мои пьесы уже снова шли на сценах московских и ленинградских театров, а паспортные дела ещё не были в порядке. С опозданием я был восстановлен и в членах Союза писателей...”

Личная жизнь Гладкова не сложится. Янка, помыкавшись, уедет со своими соотечественниками на родину. Александр Константинович после долгих колебаний вернётся к жене Тоне. В 1958 году родится дочь Татьяна, названная в честь матери писателя.

Шесть лет заключения повлияли не только на здоровье Гладкова, но и на его мировоззрение. По существу, он оказался вне среды, где отстранённость от “большого государства” считается признаком вольнолюбивой независимости сердца. Там, в зоне, учёные звания и степени оставались вместе с гражданской одежкой в лагерном предбаннике, и человек, оказавшись голым, оценивался по другим критериям и меркам. Вчерашние книжники, не умевшие держать топор или лопату, сосредоточенные на своих обидах и болях, выглядели пришельцами из какого-то другого мира. “Придурками” в лагере называли не только умевших пристроиться злостных симулянтов, но и интеллигентных неумех, которые (если их рассматривать поодиночке) казались совершенно не опасными для государства. Лагерные начальники нередко ломали голову, как выросшим в других, тепличных, условиях людям придумать какую-нибудь непыльную должностёнку и тем самым сохранить жизнь. Так, доктор филологических наук Мелетинский превратился в незаметного статистика санчасти.

Но и на зоне интеллигенты пытались традиционно кучковаться, не очень-то понимая, а то и откровенно презирая тех людей, которые, волею обстоятельств, оказались “по ту сторону”: не слишком грамотную фельдшерницу из санчасти, охранника-матерщинника и, конечно, “гражданина начальника” — майора, которого Окуневская считала “воплощением зла” (а этот майор по просьбе Гладкова специально выделил дрезину для заболевшей участницы агитбригады)...

Отдалившись от семьи, Гладков предпочитает жить на родительской даче, в Загорянке, где яблони цветут так, что не видно листьев, а от лесных ландышей, посаженных матерью на клумбу, исходит удивительно тонкий аромат. Там

легко дышится, хорошо думается. И, кажется, нет большего счастья, чем, протерев старые очки, погрузиться в интересную книгу на солнечной террасе.

Здесь, на террасе второго этажа, состоится отложенное на шесть лет чтение пастернаковского романа “Доктор Живаго”. И принесёт ему толстую папку Анатолий Тарасенков, предупредив: “Только на один день...”

Он хорошо запомнит этот тёплый июньский день с неожиданно налетающими ливнями. Дождь хлётко, словно кнутом, бил по стёклам террасы, шуршал в листьях яблонь, а потом рваные тучи в просветах солнца, сопровождаемые ленивым громом, скрывались за Клязьмой, и становилось благостно тихо — только спрятавшиеся ненадолго птицы снова подавали переливчатые голоса. Человек, склонившийся над рукописью, вставал из-за стола, распахивал окно, чтобы полной грудью вдохнуть свежий воздух, которого так не хватало в искусно сочинённом романе.

Он будет читать роман до утра, а потом, выкурив подряд несколько папирос, уснёт беспокойным сном, какой бывает после горячего спора с близким человеком.

— Ну как? — поинтересуется Тарасенков, забирая рукопись.

И Гладков скажет неопределённо:

— Любопытно...

А ведь он уже сделал вывод, но понимает, что “в их среде естественно безоговорочно хвалят Бориса Леонидовича (как это делают Оттены и др.), и психологически трудно признаться, что роман не понравился”.

Всё же Гладков с предельной откровенностью исповедует перед чистым листом бумаги:

“Всё, что в этой книге от романа, — слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов, — или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированных под диалог, или примитивная подделка... Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, отдают сочинённостью или подражанием... Всё национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано. Иногда мне казалось, что я читаю переводную книгу (особенно в романических местах) — такая уж это литературно-“традиционная Россия”. Россия вторичного отражения... Широкой и многосторонней картины времени нет...”

Евгений Борисович, сын поэта, ознакомившись с воспоминаниями Гладкова о своём отце (они будут опубликованы только после смерти поэта), никак не мог примириться с отрицательной оценкой “нобелевского” романа:

“Я спросил Гладкова, давно ли он читал роман последний раз и не перечитать ли ему его снова. Я знал, что многим роман открывается не сразу и требует неоднократного вчитывания, и недавно не кто иной, как та же Н. Я. Мандельштам с радостью сообщила, что перечла его в третий раз, многое поняла в нём, чего раньше не видела, и очень полюбила...”

Александр Константинович ответил, что на его оценке отразилось впечатление от первого чтения. Пообещал прочитать ещё раз, повнимательнее.

Кстати, претензии подобного рода Евгений Борисович предьявляет Гладкову не впервые. Ещё раньше Гладков, ознакомившись с поэмой Пастернака “Зарево”, нашёл батальные картины неудачными, внутренне натянутыми. Евгений Борисович отреагировал на критику следующим образом:

“Гладков не сумел увидеть той сторонящейся риторики и прикрас целомудренной сдержанности, которая характеризует также стиль военных описаний Лермонтова или Толстого...”

В 60-е годы работа над мемуарным жанром становится едва ли не главным делом Гладкова. Он встречается с Эренбургом, Олешей, Паустовским, Ахматовой...

Поздний Гладков старается быть независимым в своих суждениях. Ему претит не только советский, с переборами, официоз, но и назойливый диктат “среды”. В одной из статей Александр Константинович убедительно возражает Тынянову по поводу убийства Моцарта. По мнению известного литературоведа, Пушкин выдумал злодейство Сальери. Гладков же, опираясь на исследования И. Бэлзы, пришёл к выводу, что художническая интуиция не подвела русского гения. Так же Гладков решительно не соглашается и с литературоведом Э. Герштейн, утверждающей, что князь Васильчиков сыграл решающую роль в убийстве Лермонтова.

Теперь Гладков не столь однозначен в оценке своего поколения:

“Двадцатые годы формировали среди молодой советской интеллигенции людей высокомерных и ироничных...”

Не оглядываясь на своих друзей-“интернационалистов”, Гладков замечает:

“Вспомним полную перипетий историю такого слова, как патриотизм. Через какие только приключения не прошёл этот термин: годами он жил в кандалах кавычек или спутником каких-нибудь очень неуважаемых понятий...”

Да и случаи антисемитизма теперь не вызывают у Гладкова прежнего доверия. Как-то Михаил Светлов (автор строк “Я рад, что в огне мирового пожара// Мой маленький домик горит...”) сообщил ему, что какие-то пьяные антисемиты закидали камнями окна дачи опального Пастернака в Переделкине.

– Борис Леонидович закрывается на все засовы! – взывая к сочувствию, кипел Светлов. – Он даже занавешивает окна, чтобы скрыть своё присутствие!..

Гладков разделил негодование Светлова, а потом оказалось, что всё, рассказанное с чужих слов поэтом, – не очень опрятная “утка”, вылетевшая из стен Литературного института.

При встрече с Гладковым Евгений Борисович Пастернак удивился:

– Что вы говорите? Да не было такого...

Гладков старается держаться со всеми ровно, не обращая особого внимания на отдельные уколы. И всё же случай с Юрием Трифоновым вывел его из равновесия...

В одном из романов Трифонов изобразил довольно непривлекательного литератора, живущего в Загорянке. Поскольку других писателей, кроме Гладкова, в Загорянке не проживало, прототип художественного образа не вызывал сомнений. Гладков некоторое время носил обиду в себе, а потом пожаловался своей соседке по московской квартире – жене писателя Кина. Эмоциональная Цецилия Исааквна при случае отчитала бестактного Юрочку, и узнаваемая Загорянка превратилась в безобидную Валентиновку...

Шестидесятилетний “Жан Вальжан” (так называли его друзья) уже не отличался отменным здоровьем. Мучило не только сердце, но и слабеющее зрение – сложно становилось писать и читать. В дневнике он делает запись: “Я легко бросил курить, могу ограничить себя в еде, почти не пью, но бросить читать не могу”.

Двоюродная сестра Антонина Васильевна (она тоже жила в Загорянке) привезла ему из московской поликлиники новые очки. “Не очки, а микроскоп!” – восхитился Александр Константинович и, проведив родственницу, принялся дочитывать “Превращение” Кафки. Роман удовлетворил интерес, но не вызвал восхищения:

“Простые мысли не нуждаются в хитроумной зашифровке. И вообще ребусы принято печатать в отделе “Смесь” на последней полосе... Лично мне такое искусство чуждо!”

Канул в прошлое мир юности с естественной для него тягой к сложному. Теперь у Гладкова другое кредо:

“Надо писать простые и человеческие пьесы, способные восхитить не только утончённых знатоков, но и взволновать профанов...”

Редкие гости навещают Гладкова в его “укрыище”. Потому и хорошо запомнился ему приезд мало кому известного автора повести “Один день Ивана Денисовича”.

Румяный, белозубый и улыбающийся Солженицын собирал материал для своего “ГУЛага”. Его интересовали подробности заключения Гладкова и особенно история гулаговских театров.

Александр Исаевич предпочёл вести беседу не в домашней обстановке, а на воле, в садовой беседке.

В чёрной, под кожу, куртке, положив перед собой офицерскую планшетку, Солженицын сидел напротив Александра Константиновича и, не уставая, расспрашивал. Гладков не любил лагерную тему: не хотелось ворошить былое, похожее на дурной сон. А Солженицын, расположившийся, словно следователь, что-то записывал на четвертушке листа и согласно кивал головой: так, так...

Наконец, Солженицын захлопнул планшетку, отказался от чая и прямо, по-военному, поднявшись, попросил:

– Можно осмотреть ваш сад?

Они довольно долго бродили по саду, ставшему двойником муромского сада, где были ранние и поздние сорта яблонь, высокая груша-“тонковетка”, владимирская вишня, крыжовник, чёрная и красная смородина и отбившийся от хозяйских рук путанный-перепутанный малинник.

— Хорошо у вас! — сказал Солженицын и вздохнул. Помолчал, дотронувшись до хрупкой, покрытой серебристым пушком яблоневого завязи. А потом, оглянувшись, неожиданно спросил: — Надеюсь, мой визит не принесёт вам неприятностей?

Александр Константинович улыбнулся и ответил так, как мать говорила в подобных случаях:

— Бог не выдаст — свинья не съест. . .

— Бог-то Бог. . . — Солженицын покачал головой.

Гладков проводил гостя до станции. Быстро подкатила московская электричка.

— Ну прощай, брат! — по-свойски сказал Александр Исаевич.

Обнялись торопливо, как с отставшим корешем на пересылке.

Свистнул поезд, и, как оказалось, Солженицын отбыл надолго, в заморские края. . .

Александр Константинович немного передохнёт на станционной скамейке, а потом медленно, близоруко приглядываясь к дороге, побредёт к себе домой. . .

Он ещё успеет завершить свою последнюю пьесу “Молодость театра” и даже побывает на её успешной премьере в театре имени Вахтангова.

Не стало Гладкова 11 апреля 1976 года. Он умер во сне. Кто знает, что ему снилось? Может быть, это был такой же сон, о котором он когда-то написал в своём дневнике: “Приятный сон: я где-то покупаю новые журналы и книги. . .”

Цецилия Кин напишет:

“Александр Константинович Гладков был глубоко русским писателем, муромским богатырём. Патриотом в высшем смысле слова. . .”

\* \* \*

Гладков написал девять пьес и три киноповести. Он оставил нам эссе и мемуары — окна в прошлое. Безусловно, вершиной его драматургического творчества стала героическая комедия “Давным-давно”. На сюжет этой пьесы была создана музыкальная комедия, поставлены фильм “Гусарская баллада” и балет на музыку Тихона Хренникова с таким же названием.

Казалось бы, смерть драматурга подвела окончательную черту под его творчеством, расставила всё по своим местам, но недаром говорят: “В чужих людях и за год можно чёртом прослыть”.

В своих мемуарах “Неподведённые итоги” известный режиссёр Эльдар Рязанов (этот “упрямый, мужественный человек”, как назвал его Гладков) делает сенсационный вывод: в творческом плане Александр Константинович не состоителен и потому не может быть автором пьесы “Давным-давно”.

Как же “фанатик и энтузиаст комедийного жанра” дошёл до мысли такой?

События разворачивались так. . . Сценарий фильма по пьесе “Давным-давно” близился к завершению. Оставалось лишь кое-что убрать и немного добавить — на это, по самым максимальным прикидкам Рязанова, могло понадобиться не более месяца, и этот срок как будто устраивал Гладкова.

Но, дав обещание поработать, Гладков бесследно исчезает. Не на шутку обеспокоенный Рязанов обрывает телефон драматурга, оставляет безответные записки в дверях его московской квартиры. Он даже пытается обнаружить загулявшего “гусара” у его постоянной любовницы в Ленинграде. . .

Масла в огонь подлил один из директоров “Мосфильма” Юрий Шевкуненко:

— Да нет смысла его искать! Этот человек вообще ничего не написал в рифму.

— Как так? — изумился Рязанов. — А его пьеса в стихах?

— Да не его эта пьеса! — отмахнулся Юрий Александрович. — Скорее всего, он вынес её из тюрьмы. . .

И всё же упрямый режиссёр пытается во что бы то ни стало найти таинственного беглеца. Случайно от друзей Рязанов узнаёт, что Гладков гостит

в Тарусе. Режиссёр садится в автомобиль и — о, счастье! — застаёт Гладкова в компании Паустовского и Оттена. Смущённый неожиданной встречей драматург уверяет, что работа кипит, до завершения всего чуть-чуть, но почему-то наотрез отказывается показать хоть один черновой набросок.

С мейерхольдовской подозрительностью вглядывался Рязанов в одутловатое лицо драматурга: “Эмоции не играли на его лице. Лицо его отнюдь не было зеркалом, отражающим мысли и чувства”.

Так ничего и не поняв, Рязанов уезжает, а вскоре узнает, что Гладкова нет ни в Тарусе, ни в Москве, ни в Ленинграде — словом, “Гарун бежал быстрее лани”...

“Я засел за стихи сам, — рассказывает Рязанов. — И управился за одну неделю! Работа оказалась несложной, ведь надо было сочинить только заплатки, сделать так, чтобы имитация не бросалась в глаза. Я понял, что настоящему автору пьесы на это хватило бы трёх дней...”

“Я не знаю, надо ли вообще рассказывать всё это? — продолжает режиссёр. — Я ни на что не претендую. Знаю только, что пьесу “Давным-давно” написал не я. Бездоказательно думаю, что Гладков получил эту пьесу в тюрьме от человека, который так и не вышел на свободу. Можно представить и то, что настоящий автор выжил, но понял, что никогда не сможет доказать своё право, и промолчал всю оставшуюся жизнь...”

Не позволивший себе “думать доказательно” (а ведь думать нужно именно так, поскольку речь идёт о творческой и человеческой репутации драматурга!), Рязанов даже предполагает, что Гладков мог “вжиться” в чужое произведение настолько, что оно ему показалось “своим”.

Бедный Гладков! Ему повезло меньше, чем Шекспиру. Сомневающиеся в авторстве Шекспира хотя бы называют драматурга Марло, философа Бэкона или королеву Елизавету, а в данном случае ни одной фамилии предполагаемого истинного автора! Какой-то “человек ниоткуда”, совместивший в себе удивительный дар поэта и драматурга...

Мда! уникальная пьеса (написанная до войны, за постановку которой Алексей Попов получил Сталинскую премию!), оказывается... “писалась в тюрьме”.

Ладно, оставим в стороне монтекристовские сюжеты, лучше поговорим о реальном человеке, “ничего не написавшем в рифму”. Первое своё стихотворение Гладков опубликовал в 1929 году в “Комсомольской правде”. Потом была литературная “подёнка” (те же куплеты для агитбригад). Конечно, писались стихи “для себя”. Но вершиной поэтического творчества Гладкова стала ещё нигде не опубликованная “Северная тетрадь” (после долгих поисков эти стихи попали в руки муромского краеведа Николая Сергеевича Крылова).

Почему-то не повезло Гладкову и с авторами “Большой Российской энциклопедии” 2007 года. В ней упомянули двух других Гладковых (писателя и композитора), не обошли вниманием литератора Анатолия Гладиллина, а вот автора пьесы “Давным-давно” в энциклопедии не оказалось.

В чём причина? Может быть, чьё-то упущение, а может, недобрый умысел? Обычно люди клана ревностно оберегают репутации своих талантов, а вот с Гладковым что-то не заладилось. Может, дело в том, что Гладков как бы оказался ни в тех, ни в сех: для кого-то он перестал быть своим, ну, а другие его не приняли.

И всё же, какие бы “Итоги” ни подводились и какие бы энциклопедии ни составлялись, имя драматурга Александра Константиновича Гладкова навсегда останется в анналах русской советской литературы.

*И стала будничной беда.  
Привычкой заросла.  
И кажется, что так всегда  
Без года и числа.*

*Тянулось время... Нет конца  
У безымянных лет.  
И нет у времени лица,  
Безде названья нет.*

(Стихотворение 1950 года)